

XXV

— Прощай, Зоя!

Уже светало, когда я в сопровождении усатого жандарма ехал в место своего продолжительного успокоения. Грустным взором я окидывал знакомые пустынные еще улицы спящего города и мысленно прощался с особенно памятными местами. Вон там, в переулке, живет моя милая Зоя! Стоит только подняться в гору, потом свернуть в переулок — и увидишь дорогое крылечко. Ах, как хотелось бы соскочить с извозчика и побежать туда, войти, поцеловать сонную девушку (ведь она теперь спит уже!) и еще раз сказать ей:

— Прощай! Надолго. Не забудь!

А вот и тот домик, где жила Зоя гимназисткой. Через забор видны старые березы, под которыми мы занимались с ней алгеброй. Ах, как давно это было!.. Потянулась ограда общественного сада, где мы впервые встретились... Весь город полон милых, нежных воспоминаний, связанных с... Невеста!.. Она — моя невеста! Зоя — моя невеста!.. Странное слово. Я повторял его одними губами и вдруг радостно засмеялся...

Жандарм покосился и сказал:

— Вам все смешно, господин Тарханов.

— Смешно, ваше благородие! — ответил я и опять громко расхохотался.

— По сторонам нечего глядеть!

— Я еще не в тюрьме, милый.

— Говорить нельзя!

— А думать я могу?

— Этого никому не закажешь!..

— Вот то-то и есть, братец... Душу в тюрьму не посадишь.

— Тпру!..

— Приехали.

В предрассветных сумерках угрюмо высились тяжелые стены и башни тюрьмы с какими-то странными воротами в глубокой нише. Загремел тяжелый засов, и заскрипели железные ворота.

— Политический!

Под мрачным сводом ворот кто-то ходил с фонарем, звенел ключами. Переговаривались вполголоса, а потом приблизился человек с шашкой и револьвером на боку и строго приказал:

— Пожалуйте в контору!.. За мной.

Долго держали в конторе, что-то писали и о чем-то и с кем-то говорили по телефону, а потом стали обыскивать, выворачивая карманы и обглаживая все тело цепкими, дрожащими руками:

— Вот патрет при них какой-то!..

— Прошу разрешить взять его с собой в камеру. Это — моя... невеста.

— Нельзя.

Я долго спорил и горячился, но пришел злой смотритель и сказал:

— Никаких невест! Пожалуйте в камеру... Увидите его в No 2.

— В башню их, ваше благородие?

— В башню No 2.

Меня повели длинными коридорами, вдоль которых прохаживались тюремные стражники со звенящими ключами.

— Пожалуйте сюда!

Угловая дверь стукнула и растворилась, кто-то слегка подтолкнул меня в спину, и дверь закрылась.

Так вот она, тюрьма, о которой я так часто думал! Башня, круглая, высокая, с круглым окошечком вверх. Кровать, столик, табурет, жестяная лампочка... словно я донес, наконец, какую-то тяжелую ношу, и не было больше сил держаться на ногах. С трудом сбросив шубу и калоши, я упал в жесткую постель и заснул крепким, тяжелым сном, мертвым сном без сновидений... Когда я проснулся, то не сразу вспомнил, где я и что вчера случилось. Но вверх, под потолком, мне приветливо улыбнулось солнечное пятно решетчатого окошечка, и пробужденная память с быстрой молнии воскресила весь вчерашний день и всю ночь, вплоть до тюремных ворот... Сколько пережито в этот прошедший день и прошлую уже ночь! Кажется, что за всю жизнь не было столько горя, тоски, радости, волнений и мук совести, столько огромного счастья. Целая вечность осталась там, за этими каменными стенами круглой башни. Я лежал и, вспоминая этот день и ночь, вновь переживал прожитое и снова терзался муками, был в театре на «Евгении Онегине», сидел в буфете и доживал последние часы своей жизни, потом был спасен Зоей, одной ее таинственной фразой: «Я никогда не призналась бы потом Онегину, что все еще люблю его...» Кажется, она сказала так?! А потом — проводы до дому, снежки, ласковый голосок и ласковый взгляд, умные разговоры о чем-то с Игнатович... Странная особа: обижается, что я люблю не ее, а Зою... Потом зловещий красный абажур на квартире и спина Николая Ивановича, любовно обхваченная рукой жандарма... Потом тревожный ночной визит к Зое и последняя прогулка на воле в тихую ночь и... счастье, счастье... счастье!.. Если подумаешь, что в это утро я мог бы уже лежать холодным трупом на столе анатомического театра, охватывает какая-то бешеная радость... Не жить, не знать, не любить... так жестоко обмануться!.. Зоя, Зоя! О, прекрасное, любимое имя! Ведь в нем — жизнь, по-гречески «Зоя» значит — «жизнь»!.. Это ты вернула меня к жизни, это ты отняла меня у смерти!

— Благодарю тебя, как Бога, который послал мне светлого посланника, чтобы удержать мою руку от последнего непоправимого движения!..

Весело играет на стене солнечный зайчик. Должно быть, теперь хорошо на улицах: солнечно, радостно, людно. Счастливые воробьи: они так весело и оживленно разговаривают где-то вверх, под самым окном... Посмотрел бы в окошечко, да высоко, не достанешь.

Загремел засов двери, брякнули ключи. Ко мне! Кто там идет?..

— Кипяточку!

Стражник с добродушным лицом принес и поставил на столик жестяной чайник с кипятком и оглядел камеру.

— Чай-сахар имеете?

— Имею, все припас... А вот бумаги и чернил!.. Надо письма написать.

— Не сразу. Вот пойдет надзиратель с вечерним обходом — и заявите...

— Сколько времени?

— Одиннадцатый.

— А хорошо сегодня на улице?

— Очень приятно.

— Погоди-ка!..

Ушел. Опять бряцание ключами, лязг железа и полная тишина...

— Ну-с, надо приспособляться к новой жизни!..

Пожалуйте, жених, чай пить из жестяного чайника; о самоварчике пока не мечтайте!.. Заварил чаю, походил, подробнее ознакомился с новым жилищем. Если бы не круглая, сводчатая комната да не так высоко окошко, в общем не так уж дурно... Другой бедняк-студент сказал бы: «Дай Бог всякому!..» Готовая квартира, отопление, освещение и еще три рубля шесть гривен в месяц жалованья... Ничего! Проживем! Терпи казак — атаманом будешь... Это «многих славных путь»... Я перебирал в памяти любимых писателей, и оказывалось, что все они сидели в тюрьмах, а некоторые побывали даже и на ка-торге... Стал рассматривать стены. Есть тайные пометки, фамилии, изречения, даты водворения в башне. «Арестован 15-го мая 188... г. С. Т.» «Ах, подруженьки, как скучно»... «Иванов — предатель»...

«Жизни вольным впечатленьям душу вольную отдай, человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай», «а, б, в, г, д — е, ж, з, и, к — л, м, н, о, п»... Азбука для перестукивания. Это — вещь полезная. Однако чай готов. Пожалуйте кушать! Уселся и с удовольствием стал пить горячий напиток, так тесно связывающий меня с вольными жителями. Пил, а сам думал о том, что делает теперь Зоя и как она тоскует обо мне... Почему так приятно знать, что по тебе тоскует на воле прекрасная девушка? Не знаю. Но от этой мысли на лице

бродит приятная улыбка и хочется смеяться. Приятно также думать, что сегодня мой арест служит главным предметом разговоров среди студентов и товарищей, среди курсисток и профессоров. Это связывает меня бесчисленными нитями с волей, с городом, с людьми и с солнцем, которое играет на стене зайчиком.

— Слышали... Геннадий Тарханов сегодня ночью арестован!

— Ну!

— Вместе с Николаем Ивановичем.

— За что?

— Неизвестно. Говорят, нашли много нелегальщины...

— Типография взята...

— Врешь! Никакой типографии, а склад нелегальной литературы...

Воображаю эти тревожные разговоры, тревожные лица, тревожные слухи...

А за что я, действительно, взят? Ведь ничего предосудительного у меня в комнате не нашли. Черт их знает! Загадочно. Впрочем, на первых же допросах все это должно выясниться. Подождем, над нами не каплет. Жаль вот, нет французской булки. Палаша всегда приносила еще тепленькую.

Палаша!.. Славная баба: заплакала, когда меня увозили, и спрашивает у жандарма:

— Куда вы его, идолы, увозите? Что он вам помешал?..

— Молчи, а то протокол составляю...

— Составляй!.. Больно я испугалась. Мало вам одного, обоих забрали!..

— А славная старуха — мать у Николая Ивановича: как она гордо говорила с жандармами. Ни одной слезинки!

— Я вам ничего не скажу: если угодно, можете и меня в тюрьму...

Молодец старушка!.. Хорошо! Много на свете честных, стойких людей.

— Ну-ка еще стаканчик, господин политический арестант!

— Гм... Политический арестант. Я — политический арестант. Неужели? Да, это несомненно. Зоин жених — политический арестант...

Н-о-очь, успели мы всем нас-ла-диться...

Что ж на-ам делать, не хо-о-чется спа-а-ать...

Стук в железный засов двери, потом появление стражника.



— Петь здесь не полагается. Здесь — тюрьма, а не дома!

— Тюрьма? Я и забыл, братец...

— Вот вам обед.

— Уж обед? А я еще чай не кончил...

— Не мое дело. Нам нельзя с политическими разговаривать.

— Нельзя? Почему?

— Так. Приказ такой.

— А ты — женатый?

— Я-то? Женатый... У меня трое детей... В деревне...

— Скучаешь, поди?

— Конечно! Сам слободен, а все одно что политический... Нельзя нам...

— Погоди-ка!..

Махнул рукой и ушел, не оборачиваясь. Вот чудак! Ну-ка, что у вас за обед? Поди, не хуже кухмистерской Волкова... Гм!.. Что такое и как оно называется?.. Что-то вроде щей: плавают кусочки капусты, пахнет кисленько, цвет — янтарный. Попробовал. Гм... Нет, у Волкова все-таки добросовестнее. Хлеб ничего себе, корочка даже не без пикантности. Надо есть: другого не дадут. Главное — набить чем-нибудь проклятое брюхо, а там наплевать... Эх, да тут еще каша гречневая!.. Ну, унывать нечего. У других и этого нет... одним чаем пробиваются... Удивительно: все щи съел и всю кашу! А все-таки неудовольствие на пищу выразить следует, а потом устроиться на собственное иждивение: за восемь рублей можно получать и здесь приличный моему званию обед. А теперь поваляемся и помечтаем о Зое, о моей милой невесте. Эх, голубка, как бы я хотел очутиться теперь с тобой на волжском пароходе!.. Помнишь? Синяя ночь, мириады звезд, соловьиные песни в горах, красные и зеленые огоньки, эхо свистков протяжных, иногда грустных таких... Сели бы мы с тобой где-нибудь в темном уголке на балконе и, прижавшись друг к другу, стали бы смотреть то на звезды, то в глаза друг другу. Ветерок бы играл прядью твоих золотых волос и щекотал бы мне щеку...

— Пожалуйста на прогулку!..

— Куда?

— На прогулку...

— С нашим удовольствием!.. Да здесь совершенно правильный образ жизни. Сколько можно гулять?

— Четверть часа.

— Ну, это маловато, ваше благородие!..

— Не зовите так.

— А что же? Из уважения к вашей деятельности.

— Услышит надзиратель, на меня обидится...

— На тебя-то за что?..

— Подумаает, я так приказываю...

— Обидчивый он, должно быть.

Ах, какой дивный денек!.. Солнечный, ликующий... Еще конец января, а в этом дне уже бродят какие-то предчувствия приближающейся весны. Солнышко-то как припекает!..

Я встал у каменной стены, где доставало солнце, и, зажмурив глаза, стал вслушиваться в голоса жизни за оградой нашего мрачного замка.

— А вы, господин, гуляйте!..

— А вам какое дело, хожу я или стою!

— Нечего у стены прохлаждаться!.. Ходите, а то пожалуйте обратно...

— Странно...

Я пошел гулять по расчищенной около стен дорожке, а страж подошел к стене и старательно осмотрел то место, где я стоял.

— Что, не проковырял я стены пальцем?

— Разговаривать нельзя. Ходите — и больше без всяких выражений!..

Походил я «без всяких выражений» по дворику, попил грудью пахнущего снегом бодрящего воздуха, посмотрел на небеса, по которым куда-то проплывали вольные тучки, и, послав привет в ту сторону, где жила Зоя, пошел домой, в свою мрачную башню... И когда я туда вернулся, я впервые почувствовал неволю... Раздразнил меня яркий солнечный день, разбередил тоску по свободе и по моей, и близкой и далекой, невесте... Опять и близко и далеко ты, мой чистый белый голубь!..

Тускло прошел остаток дня. Ушло от окна солнышко, повисли в камере сумерки, и сводчатый потолок башни почернел. Нечего было делать и плохо думалось. Я то валялся в кровати, то начинал, как белка в колесе, кружиться по круглой комнате. То останавливался и, прислушиваясь, ждал чего-то, то садился на табурет и бурчал потихоньку:

Наша жизнь ко-рот-ка, все уно-о-сит с собою...

Наша ра-а-дость, друзь-я-а, пронесется стрело-ю...

А в тишине, объявшей тюрьму в сумерках, было слышно, как по коридору шагал, побрякивая шашкой, тюремный страж. Как неожиданному другу, обрадовался я желтому огоньку жестяной лампочки. Казалось, что кто-то родной тайно пришел разделить мое тоскливое одиночество. Потом — опять кипяточек, чай и, наконец, проверка.

— Нельзя ли книг, бумаги, чернила?..

— Преждевременно. Хлопочите у жандармского полковника: вы пока под следствием...

Опять тишина, глухие шаги в коридорах, побрякивание оружием и ключами...

Ах, как долга ночь в одиночной тюрьме!.. Все кажется, что кто-то стонет и потихоньку плачет... Не спится: мысли бродят на воле и летают около любимых людей и любимых мест. Чуть задремлешь и снова очнешься; прислушаешься, вздрогнешь от лязга оружия за дверями:

— Смена!..

Ах, как долга ночь в одинокой башне!..

XXVI

В ритмичном однообразии бегут дни и ночи, и нечем отличать их друг от друга. «Кипяточек», обед, прогулка, опять «кипяточек», желтый огонек лампы, поверка и гробовая тишина пропитанной какой-то нервной напряженностью тюремной ночи... Словно оторвалось время от своей бесконечной протяженности и разорвало твою жизнь пополам... Позади — ярко, прекрасно, красочно и пестро, а теперь и впереди — тихая звучная пустота. Никаких известий не долетает из живого мира, словно он прекратил свое существование. Все забыли, все!.. Хотя скорее бы начались допросы... Ни книг, ни писем, ни бумаги; никто не отвечает на «выстукивание»... Эта проклятая башня похожа на каменный склеп. С нетерпением ждешь бани и всенощной. В бане моешься вдвоем с тюремным стражником, но совершенно позабываешь о тюрьме: в огромной деревянной бане мы оба голые, и потому происходит полное уравнение в наших положениях; мы тихо и дружно разговариваем о деревне, о родных, о мужиках и горожанах, помогаем друг другу потереть спину, шутим и смеемся:

— Коли разденешь людей, так все одинаковы... Который стражник, а который политический — разбери-ка поди!..

— Не разберешь... А только промежду вас мало толстых и старых...

Постепенно становимся откровеннее, переходим к недозволенным разговорам. Стражник озирается и говорит шепотом, грозит пальцем... Да, ничем не запрешь человеческой мысли... Не придумали еще таких замков!..

После бани чувствуешь себя снова бодрым и снова способным терпеливо нести тоску одиночества. А перед праздниками хожу в тюремную церковь послушать, как под кандалный звон поют уголовные арестанты. Для политических в церкви есть особые клетки: ничего не видно, только — слышно. Кротко звучит под сводами старческий тенорок священника, с каким-то исступлением

поют арестанты воззвания к Господу, и вздохи перемешиваются с бряцанием ножных кандалов... Море человеческого страдания гудит своим прибоем в этом пении, и Распятый Страдалец воскресает в памяти и в сердце...

Вот уже три недели, как я в тюрьме. Эти три недели кажутся тремя годами — и тремя часами: последний на воле кажется бесконечно далеким, а протяженность тюремного пребывания прячется под однообразием дней, которых нечем различать. Понятие о времени становится туманным. Иногда забываешь, какой день и какой час. Все больше твоя жизнь становится механической. Когда ночью спишь с раскрытой форткой, бывает слышно, как на городской башне бьют часы: с поразительной быстротой колокола выбивают час за часом. И когда вспомнишь, что с каждым боем колоколов обрывается новый час твоей жизни, то вдруг делается страшно: ведь из таких кусков состоят дни, недели, месяцы, годы... Начинаешь думать о смерти, потом вскакиваешь и начинаешь бегать по камере. Хочется закричать:

— Отдайте мне мою жизнь! Вы не имеете права сокращать ее. Отдайте мне эти украденные у меня часы, дни! Ведь в них, в каждом из них — кусок моей радости, счастья юности!..

Но оглядишься вокруг и печально ухмыльнешься: круглые глухие стены никому ничего не скажут...

После прогулок — хуже: словно разбередишь тоску любви и тоску по воле. Забыла, забыла... Я хотел бы пристально посмотреть в твои глаза и молча прочесть в них свой приговор. Может быть, если бы я был на воле, я смог бы снова разбудить твое изменчивое сердце, как это я сделал уже однажды. Но я бессилен, а твоя любовь убегает все дальше, с каждым часом дальше... О, проклятие... вам, круглые желтые стены!.. Когда-нибудь я разобью вас своим лбом и освобожу душу, оставив один труп... Пусть он валяется в башне и своим смрадом кричит о свободе...

Однажды после прогулки, когда я был в таком настроении, дверь камеры растворилась, и вошел надзиратель:

— Получите письма!..

Письма! Мне письма! Целых восемь писем!.. Какое счастье!.. Я схватил письма и, как собака с костью, отошел в угол и стал ждать, когда смолкнет звон ключей. Письма. От кого? Это — почерк мамы, а это... От Зои, от Зои!.. Ура, меня не забыли!.. Сперва от Зои: шесть открыток... «В губернскую тюрьму, политическому арестанту Геннадию Николаевичу Тарханову». «Милый, родной мой, люблю и тоскую. Твоя З.»



— Как я счастлив! Как я счастлив! И как я люблю тебя...

Я смотрел на письмо, перечеркнутое со всех сторон желтыми полосками испытующей тайны писем жидкости, нежно поцеловал его и не мог наглядеться на слова и буквы, ожившие и говорящие мне много тайного, о чем не откроют вам никакие ухищрения...

«Милый, родной, любимый!.. Сегодня ходила в жандармское просить свидания. Не дают, голубчик. Обещают после допроса. Теряю терпение. Будь здоров! Терпи! Помни, что ты не один и, где бы ты ни был, с тобой — друзья и твоя З.»

Хлынула в душу такая радость, такая беспредельная благодарность жизни, всему миру, всем людям-друзьям, что не стало сил сдержать благостных слез, и я, повалившись в постель, уткнулся в подушку лицом и долго всхлипывал и глотал слезы радости... Какой я счастливый!..

«Здоров ли ты, мой хороший? Страшно беспокоюсь. Сегодня ночью видела скверный сон и, проснувшись, долго плакала. Когда же меня пустят к тебе! Целую и благословляю. Если можно, напиши, что помнишь и... Твоя».

«Люблю и помню. Сегодня ходила жаловаться к губернатору. Обещал поговорить по телефону

с полковником. Скоро увидимся. Напиши хотя два слова. Вся твоя З.»

«Что же это такое?.. (Три строчки вымараны цензурой жандармского управления.) Разве невеста не так же близка тебе, как мать? Ее — пустят, а меня не хотят. Сейчас еду к губернатору. Целую тысячу раз. Твоя навсегда З.»

«Родной мой! (Вычеркнуто пять строк.) Подаю жалобу министру внутренних дел. Разобралась с товарищем прокурора и с полковником. Если не получу разрешения на свидание, поеду в Петербург. Не может быть, чтобы был такой закон. Люблю всеми силами души. З.»

Какая она... энергичная и упрямая! И как деятельна ее любовь! Почему же все письма пришли разом? Когда они написаны? Рассматриваю почтовые штампы: продержали и измазали... читали и, конечно, посмеивались...

Я злобно сжал кулаки и стал бегать по кругу...

Только бы выйти, только бы выйти на волю!.. Значит, и мои письма только сегодня получены Зоей... Напрасно я упрекал ее в забывчивости... Вместо радости ей — опять огорчение... Какая свинья ты, Геннадий Николаевич, неблагодарная свинья!.. И кислятина: просидел три недели и раскис. Стыдись, братец, вспомни судьбу Сони!..

Ни одного упрека, ни одной слезинки даже в такой момент, когда она писала последнее в жизни письмо...

— Святая... Прости мое малодушие!.. Что пишет мама?..

«Милый сын Геннадий! Я живу здесь уже вторую неделю и жду, когда мне позволят с тобой увидеться. Измучилась, бегая по разным канцеляриям, устала, хвораю. Не жалеете вы своих родителей! Вчера внесла в контору тюрьмы двадцать рублей на твое содержание. Питайся хорошенко. Как только позволят, приду, а пока остаюсь любящая тебя мать...»

«Милый сын Геннадий! Сегодня встретила у полковника с какой-то девицей, называющей себя твоей невестой. Подтвердить полковнику, что это — твоя невеста, не решилась, потому что впервые вижу эту особу...» Не дочитал. Почувствовал в матери врага и громко заговорил, ходя по камере:

— Это — не особа, а девушка, которую я люблю, которая... да, дороже тебя мне! Поняла? Как ты смела... Какое тебе дело... Оставь меня!.. «Особа!..» Как это грубо... «Питайся хорошенко»... У вас на первом плане — брюхо, а с душой вы не любите стесняться... Так знай же, что, если будет поставлен вопрос о свидании с которой-нибудь одной из вас, я выберу «эту особу»... Ведь и ты была когда-то такой особой. Забыла... Эгоисты, вы требуете монополии на любовь детей, а сами...

— Пожалуйте на допрос!

— Наконец-то!.. Как манны небесной жду я этого допроса...

— Потрудитесь одеться: допрос в жандармском правлении, а не в конторе.

— Тем лучше... Прокачусь по городу...

Допрос! Допрос! Ведь это значит, что скоро я увижу Зою, получу право иметь книги, перо и бумагу, буду знать, в чем меня обвиняют и чего можно ждать в будущем. С этим допросом связан перелом в моей жизни. Да здравствует допрос!

— Я к вашим услугам.

В конторе жандарм принял меня под расписку в разносной книге и повел к воротам. Впервые после того, как они затворились за мной, ворота раскрылись. Возликовала душа, всколыхнулась, и как птица из клетки, полетела с радостным пением на свободу. Было сверкающее морозное утро, тихое такое, белое утро; телеграфные проволоки казались мохнатыми от иголистого инея, деревья стояли в белых кружевах; под лошадиными мордами болтались белые бороды; снег под полозьями приятно поскрипывал; над белыми крышами

домов дымился кажущийся через солнце розовым дым.

— Солнце на лето, зима на мороз,— сказал извозчик, похлопывая рукавицами, и мы поехали.

Глаза, привыкшие к мраку и стенам, привольно убежали в длинные перспективы улиц, жадно пили яркий свет и торопливо перескакивали с предмета на предмет, а грудь широко раскрывалась и с жадностью вбирала глубоким дыханием свежий морозный воздух; дрожала какая-то радость во всем теле, и хотелось ехать бесконечно долго. Иногда взор ловил торопливо шагавших по тротуару студентов, учащих девушек — тогда испуганно вздрагивало сердце и начинало стучать в висках: не Зоя ли спешит к губернатору, добываясь свидания со мной? Не знакомый ли товарищ бежит на лекции? Вот если бы Зоя!.. Закричал бы, не выдержал...

— Тарханов! Целую!..

Кто это?.. Игнатович... Радостно кивнул головой, а Игнатович стала махать муфтой.

— Не оглядывайтесь! Нельзя.

Вот неожиданная встреча! Не люблю Игнатович, а страшно рад этой случайности. Увидит Зою и первым делом расскажет, что видела меня. Зоя будет завидовать и расспрашивать обо всех подробностях нашей встречи! От этого мы почувствуем себя хотя немного поближе друг к другу. Что она крикнула? «Целую!..» На каком, однако, основании? Ну, да Бог с ней! Как смешно она махала муфтой: бежит и машет муфтой. Ведь, в сущности, она недурная девушка, хороший товарищ, даже красива. Касьянов безнадежно томится по ней. А вот я... не выношу, а она ко мне тяготеет. И тоже безнадежно. Как все это странно складывается!

— Тпру!..

Поднял голову — «Фотография»...

— Почему «Фотография»?

— Стало быть, надо. Пожалуйте!..

— А, вот в чем дело: привезли снимать политического преступника.

Иду впереди жандарма и горжусь своим положением: вот и я попаду в галерею портретов, которые будут потом запрещенными. Кто-нибудь потом будет рассматривать мой портрет и сочувственно говорить:

— Это Тарханов... Какое симпатичное, умное и грустное лицо!..

Войдя в фотографию, я прежде всего подошел к зеркалу. Давно уже я не видал своего лица и теперь с радостью и любопытством встретил его в зеркале: побледнел, выросли длинные волосы, в глазах — тень грусти и страдания. Интересное лицо; интеллигентное, напоминает писателя.

— Ну-с, можно! У меня все готово, — сказал с виноватой улыбкой молодой фотограф, приглашая жестом руки в ателье.

Я пошел за фотографом, а жандарм за мной. Еще раз мельком взглянул в зеркало, поправил волосы и, скрестив на груди руки, как молодой Чернышевский, встал перед аппаратом.

— Руки надо по швам, — неуверенно заметил жандарм.

— Я не солдат! — огрызнулся я, не изменяя позы.

Трижды меня снимал фотограф — и ни разу я не согласился убрать руки с груди. Попросил сделать полдюжины в свое распоряжение для родных.

— Мы не имеем права без разрешения...

— А я сам имею право делать это с собственной физиономией?

— Без полковника нельзя, — сердито сказал жандарм.

— Отлично, я поговорю с полковником.

Из фотографии меня повезли в жандармское правление на допрос. На улицах сталолюднее. Прохожие, кто со страхом, кто с сочувствием, провожали наши санки, иногда в изумлении оставались и качали головой. А мне это было очень приятно, не знаю — почему. Приехали.

Канцелярия. Пишущие в молчании жандармские унтеры. Тишина, шепот, осторожное звяканье шпор и скрип стальных перьев. Из закрытой двери вышел унтер на цыпочках и поманил меня пальцем. Вхожу в большую комнату. За большим столом, накрытым зеленым сукном, сидят: полковник, ротмистр и прокурор.

— Присаживайтесь!..

Сел, исподлобья посматриваю на врагов и делаю спокойно-невинное лицо. Полковник пошептался с ротмистром, и тот начал спрашивать, сколько лет, какого звания, привлекался ли раньше по политическим делам и т. д. Когда спросил, холост или женат, я серьезно ответил:

— Пока холост, но скоро женюсь.

— Это к делу не относится.

— Да, к делу не относится, но ко мне очень относится. Я прошу вас, господин прокурор, занести в протокол, что у меня отобрали портрет моей невесты и что отказывают в свидании с ней.

— И это к делу не относится.

Начался перекрестный допрос. Знаком ли с Николаем Ивановичем, давно ли состою в партии народолюбцев, знаком ли с каким-то Кудрявым...

— С Николаем Ивановичем не мог быть знаком: он — сын моей квартирной хозяйки. В партии считал бы за честь состоять, но, к сожалению, не со-

стоял; никакого Кудрявого или лысого не видал и не знаю...

— Где были в ночь ареста?

— Гулял с невестой.

— Где взяли «Письма» Миртова?

— Купил на толкучке в бумажном хламе.

— Где именно?

— У какого-то татарина-старьевщика. Прочитать не успел.

— Предупреждаю, что сознание облегчает участь преступника...

— Но вы объясните, в чем мое преступление; я этого еще не знаю.

— У нас есть указания, что вы занимались пропагандой среди студентов.

— Ваше счастье, но у меня-то их нет!

— Посмотрите внимательнее: не узнаете ли вы вот этого господина!

Подали фотографическую карточку кудрявого парня, по виду рабочего.

— Впервые имею удовольствие видеть.

— А если я вам скажу, что это лицо призналось в знакомстве с вами?

— Значит, кто-нибудь из вас: вы, господин полковник, или это лицо сказали ложь...

— Я попрошу вас быть поделикатнее! — заметил прокурор.

— Ну, извратили истину.

Полковник остановил на мне тяжелый, продолжительный взгляд. Я ответил тем же. Не сморгнул глазом. Я видел, что кроме «Писем» Миртова и подозрений у них ничего не имеется, и потому воспрянул духом и стал храбр и дерзок. Особенно меня обрадовала ложь относительно этого Кудрявого, которого я действительно никогда в жизни не видал... А затем ни слова о нелегальной библиотеке, о наворованном шрифте, о членах нашего кружка... Ура! Я — в полной безопасности. Ротмистр пишет протокол, а прокурор о чем-то тихо совещается в отдалении с полковником. Видно, что прокурор раздражается. Это тоже прекрасней признак.

— А-а... Так вы, господин Тарханов, не желаете показать, что получили этот гектографированный экземпляр «Писем» Миртова от сына вашей хозяйки? — спросил издали полковник.

— Я, господин полковник, не могу клеветать на людей. Я вам повторяю, что купил их на рынке и сам отвечаю за свою любознательность. За это удовольствие я уже месяц сижу в башне... Не было бы обидно, если бы хотя успел прочитать...

— Не советую, молодой человек. Прекрасно, если вы говорите правду...

И полковник начал отеческое внушение: он говорил о престарелой матери, о гибельных и лживых увлечениях молодежи, о строгих карах и бедствиях в будущем. Я сделал кроткий вид и тихо прошептал:

— Ко мне это не относится... Не понимаю вашего сожаления...

— Вы вот собираетесь, молодой человек, жениться без согласия матушки. Я имел удовольствие познакомиться с вашей невестой. Дай Бог, чтобы ваш выбор был удачен, но скажу одно: эта девушка дерзка и...

— Господин полковник!.. Это к делу не относится.

Полковник рассмеялся, прокурор — тоже. Я сейчас же этим воспользовался.

— Я прошу свидания с невестой и матерью, о разрешении иметь книги, бумагу, чернила...

— Получите... А свиданье я могу вам дать... Ммм... Воскресенье, в двенадцать дни.

— Благодарю вас...

— Потрудитесь подписать протокол допроса.

Я перечитал протокол и трясущейся от радости рукой подписал и капнул чернилами.

— Виноват!..

Стоящий поблизости унтер схватил лист и слизнул кляксу.

— Теперь можете...

— Домой?..

— Не-е-т-т... Пока еще в заключение. Не имеет претензий на помещение?

— Нельзя ли перевести из башни?..

— Это я могу для вас сделать теперь же... Эх, молодежь, молодежь!..

Я слегка поклонился и пошел за жандармом, не чуя под собой ног от счастливого исхода так долго ожидаемого мною допроса... А когда ехал в тюрьму, то потихоньку посмеивался в приподнятый воротник и говорил мысленно:

— Не на дурака напали, господин полковник!..

В тюрьму я вошел на этот раз без всякой тоски и озлобления. А когда проходил по коридору в башню, то весело бунчал:

— Трам-та-та, та-рарам...

XXVII

Воскресенье! Воскресенье!.. Не скоро еще воскресенье: сегодня только вторник... Еще осталось целых пять дней... Как дадут свидание: сперва с мамой, потом с Зоей или с обеими вместе? Лучше бы врозь: мама будет стеснять нас. Хочется смотреть на Зою и ласкаться с ней глазами, слушать ее голос и перемолвиться о том, как нам быть в

будущем. Для мамы она только «особа», а для меня — все...

Теперь я жил только ожиданием. Дни тянулись бесконечно долго. Хотелось бы их просто вычеркнуть из своей жизни. Ложился спать я с мыслью «Слава Богу, еще день прошел!» — а просыпался с тоской нового ожидания. Старался спать как можно больше, но как нарочно, сон убегал от меня, и я валялся в полузабытьи, и ночь была особенно тяжела, потому что в тишине ее я оставался с глазу на глаз со своим ожиданием. Меня перевели из башни в обыкновенную камеру, и теперь, едва наступали сумерки, со всех сторон начинались глухие нервные постукивания переговаривающихся заключенных. Казалось, что стучат не люди, а какая-то внутренняя сила в камне стен. Иногда эти постукивания, похожие на работающий телеграфный аппарат, рождались где-то очень близко: под подушкой или под кроватью. Раньше я жаждал этих переговоров с помощью стуков, но теперь они мучили меня: мне хотелось думать только о Зое и о предстоящем свидании с ней, а тут со всех сторон мешали. Прямо пытка какая-то. Кто-то в соседней камере стучал прямо мне в ухо, стучал с требовательной и раздраженной настойчивостью.

— Ту-ту, ту!.. Ту-ту, ту!.. Ту-ту-ту!.. Тртртрт... Ту! Бог его знает, кто он такой. Не хочу. Убирайся!

И я сердито отлягивался ногой в стену. На третий день после прогулки, когда я прилег подремать и над ухом снова застукал камень стены, я стал считать... Что такое? Кажется — мое имя! Постучал, слушаю и считаю стуки, в уме перевожу их на буквы: «К-а-с-я-н-о-в»... Уж не Касьянов ли? Неужели он!

— К-т-о-т-ы?... К-т-о-т-ы?..

Я выслушал свою тайную кличку и перепугался: а вдруг рядом шпион! И стена радостно застучала:

— Г-е-н-к-а, Г-е-н-к-а...

— К-т-о-т-ы?

— К-а-с-я-н-о-в.

— В-а-с-к-а?

— Д-а.

— К-о-г-д-а?

— Н-о-ч.

— Н-а-ш-л-и?

— Н-т.

Вот так история! Близко ходят около нашей нелегальной библиотеки, а найти не могут. Опасность, однако, близко...

— З-а-ч-т-о?

— О-б-ы-с-к, н-а-ш-л-и х-и-т-р-у-ю м-е-х-а-н-и-к-у.

— С-к-о-л-ь-к-о?

— О-д-и-н.

Дурак, держит по ночам у себя в квартире «Хитрую механику»!.. Постукал еще, узнал кое-какие новости и попросил больше не стучать: загремел засов двери, кто-то входил в камеру.

— Если будете перестукиваться, пожалуюсь полковнику, и не получите завтра свидания...

— Я? Перестукиваюсь? С чего это вы взяли?.. Да я не умею и перестукиваться-то!..

— Что же, сама стена стучит?

Лучше пока воздержаться: ждал-ждал, почти дождался, и вдруг не дадут. Эх, опять стучит Касьянов...

— М-о-л-ч-и, о-п-а-с-н-о.

Суббота... Завтра, завтра... Последний день моих мучений!.. Он был бы длиннее всех предыдущих, если бы не было бани и всенощной...

— В баню желаете?

— Да, да... Конечно!

— Собирайтесь!

— Сию минуту...

Э, да сегодня тает. Ласковый денек! Весной пахнет. На карнизах башен огромные ледяные сосульки роняют тяжелые капли. На тюремной крыше каркает ворона. Тропа к бане сыроватая. Мокрый воздух. Захотелось поговорить с вороной: махнул ей шапкой, она полетела и закаркала:

— Кар-карл-карл!

Хорошо! Возьми меня, ворона, с собой полетать над Зоиным домом!

В бане мылся медленно, лениво, стараясь протянуть побольше времени. Говорить со стражником не хотелось. Бултыхался в воде, потихоньку мурлыкал и взбивал в шайке пузыристую мыльную пену.

— Масленая на дворе...

— Что ты говоришь?..

— Блины скоро, а там пост...

— Да, а там — Пасха! Христос воскрес!.. Политический ведь Он был...

— А вы полно... грех так-то...

— А как же!

Начал объяснять. Стражник покачивал головой и вздыхал:

— Так-то оно так, а все-таки...

— А за что Его распяли — знаешь?..

— Жиды Его...

— Свой народ.

Заспорили. Стражник рассердился.

— Ну, мойтесь, мойтесь, а то и ничего... Одевайтесь! Не наше дело...

Не хотелось есть, оставил обед нетронутым. На прогулке все смотрел, как падают с сосулек водяные шарики и как воробьи дерутся на сырой голой березе, каким-то образом попавшей на тю-

ремный дворик, где прогуливались политические. Шуба на плечах казалась сегодня тяжелой, ходил нараспашку, часто смотрел в небо и жадно глотал влажный воздух. До всенощной томился, словно умирающий. За всенощной пришел в умиление, молился Богу, верил в Него, просил не открывать нелегальной библиотеки и благодарил за скорое свидание с Зоей. А ночью... ночью метался в постели, как больной в жару, и не находил удобного положения. Вставал, ходил, пил воду и, раскрыв фортку, прислушивался, как где-то беспокойно лаяли собаки, и смотрел на одинокую звезду, синеватым огоньком смотревшую с синих небес ко мне в камеру... Разговаривал с ней о Зое:

— Быть может, и Зоя теперь смотрит на тебя... А если она спит уже, загляни к ней в окно и тайно разбуди сердце и шепни о том, как тоскует ее милый...

Захотелось писать стихи. Подошел к стене и стал царапать спичкой:

Надо мной склонилась русая головка,
И коса упала ко мне на плечо...
В полутьме сверкнула глазами плутовка
И поцеловала крепко, горячо...

— Тук-т-т-тук!..

Не спит Касьянов, мешает писать стихи. Чего еще тебе надо:

— Тук!

— Н-е-с-п-и-ш?

— Д-а.

— Ч-т-о д-е-л-а-е-ш-ь?

— Х-о-ж-у.

— Я т-о-ж-е...

Ах, как мучительно долга эта последняя ночь перед свиданием!..

...Словно кто-то подтолкнул в сердце: раскрыл глаза и вспомнил: сегодня — свидание...

— Зоя, Зоя, Зоя!.. Белая девушка с золотыми тяжелыми косами!

Начал готовиться к встрече: тщательно умылся, надел лучшую одежду, вместо зеркала посмотрел в рефлектор жестяной лампочки, покрутил усики. Уже все готово, а до свидания остается еще больше трех часов. Не стоят ли мои часы? Нет, идут. Ходил по камере и в такт шагу потихоньку напевал:

Вот нейдет,
Да вот придет!..

Кружилась голова от непрерывного круговращения. Я бросался в постель и, сжимая руками подушку, шептал:

— Скоро ли?

Часы раскрыты. То и дело смотрю на них и сержусь: совсем не двигаются, проклятые. Лучше не смотреть. Идут... Отпирают камеру...

— Пожалуйста на свидание!

Вскочил и задохнулся от волнения и радости...

— Погодите!.. Выпью воды...

— Шапку-то захватите!..

— Ах, да... Шапку... Отлично! Вот... Где же она, шапка?.. Экое наказание!..

— Вон она, на кровати!..

— Кто пришел?

— Не могу знать.

— Старая или молодая?

— Нам неизвестно...

Бегу по длинным коридорам, стражник едва поспевает за мной. Словно лечу: замирает дух и щекает под сердцем, не могу сдерживать смеха...

— А вы, господин, не бегите... Этого не полагаются... Направо, направо!

Вот и контора. Незаметно перекрестился и вошел в будку, похожую на телефонный чуланчик. Проволочная решетка. Через нее видна женщина в черном и жандармский ротмистр...

— Мама!

Мама вздрогнула и озирается: не понимает, откуда раздался мой окрик.

Ротмистр показал ей на стул, около решетки, и она торопливо приблизилась.

— Мама!..

— Геня, Геня!.. Что ты наделал!..

Мать опустила голову и заплакала. Я смотрел на мать, и мне самому хотелось плакать: бедная старушка, похудела, состарилась еще больше и никак не поймет, что я не простой арестант, не обыкновенный преступник, и что мать должна не плакать, а гордиться таким сыном. Как ей это растолкуешь?..

— Мама! Не плачь... Ничего скверного я не сделал... Давай лучше поговорим, а то не успеем: свидание очень коротенькое...

— Что теперь с тобой будет?! Господи, помоги перенести это!.. Я...

Путаясь в словах и глотая слезы, мама стала рассказывать мне о своем разговоре с полковником и просить меня во всем сознаться чистосердечно.

— Полковник сказал, что тогда сейчас же выпустят...

— Не верь! Не в чем мне сознаваться.

— Тебя хозяйский сын смутил... Знаю я... Ты увлекаешься, а другие этим воспользовались...

— Мама, не стоит об этом говорить. Я здоров и весел, ничего не боюсь и прошу тебя не волноваться. Ничего у меня не нашли и вообще...

Подожер ротмистр и заметил:

— Разговаривать о деле нельзя, мадам. Говорите о частных делах...

— Я говорю со слов полковника...

— Не надо, мама!.. Не ищи там друзей... Скажи, понравилась тебе моя невеста?.. Придет она сегодня сюда?..

— Я не знаю, Геня, какая невеста... Видела раз у полковника девушку...

— Ну, вот она и есть!.. С золотыми косами!..

— А полковник мне говорил, что была еще другая и тоже назвалась твоей невестой и просила свидания...

— Как другая? Кто? Откуда?..

— Какая-то Вера... Вера... А фамилию забыла...

— Что за чепуха! Какая Вера? Неужели Игнатович?

— Вот, вот! Она. И полковник ни одной не решил... Не поверил обеим девицам...

— Никогда Вера Игнатович моей невестой не была и не будет... Врет!

— Я, Геня, не знаю... Да и стоит ли теперь думать о женитьбе, когда еще Бог знает, что будет впереди. И молод ты, и в тюрьме...

— Ну, это, мама, мое дело...

— Рассудительная девушка не пойдет за тебя, а...

— Мама, оставим!.. Повторяю, что у меня есть невеста, зовут ее Зоей Сергеевной. Прекрасная девушка. Как только я выйду на волю, мы сейчас же повенчаемся...

— Подождал бы, подумал...

— И ждал, и думал... Вообще это дело решенное, и нечего... Я попрошу тебя сходить в жандармское и заявить, что моя невеста... Господин ротмистр! Прошу передать полковнику, что я прошу о свидании с первой девушкой...

— Потрудитесь написать официальное прошение на имя прокурора.

— Прекрасно!

— А как же с книгами, бумагой, чернилами?..

— Разрешено. Можете выписать через контору тюрьмы.

— Прекрасно! Когда меня привезли в тюрьму, у меня отобрали портрет моей невесты. Могу я взять его в свою камеру?

— Нельзя: он приобщен к делу.

— Будет еще вопрос?

— Неизвестно. Смотря по ходу следствия... Кажется, есть новые данные...

— Не верю.

— А в таком случае прошу меня не спрашивать. Извините, мадам, свидание кончилось...

— Неужели, господин офицер?... Ведь я больше полгода не видела сына!..

— Это все равно...

— Не проси, мама!.. Зря унижаешься.

— Я тебе купила кое-что из белья... Сухарей и мыла... Марок купила...

— Пора, мадам!..

— Сейчас, сейчас... Кормят-то плохо?... Худой ты какой!.. Ах, Господи!

— Хлопочи, мама, чтобы кто-нибудь взял меня на поруки... Прощай!.. Не беспокойся!..

— Пожалуйте!..

Я махнул матери шапкой и вышел из чулана. Так кончилось мое мучительное ожидание первого свидания...

Пришел и ткнулся в постель... Тоска, тоска, тоска...

Принесли что-то. Коробка. Конфеты. От кого? Мама или... Перебираю конфеты, внимательно рассматриваю их... Несколько конфет развернуто, бумажки брошены тут же, в коробку... Взял заливной орех на бумажной формочке...

— Зоя, Зоя, милая невеста!..

На дне формочки выдавлено булавкой «твоя З.»... Милые конфеты! Необыкновенные конфеты!.. Единственные на свете!.. Родные!.. Я взял заливной орех и долго смотрел на него: этот орех был в руках Зои... Чтобы написать «твоя З.», надо было вынуть орех... Я тебя, орех, не съем! Живи со мной в одиночной камере, помогай мне ждать Зою и постоянно смотри на меня с полочки, куда я тебя поставлю...

— Тук, ту-ту, тук-ту-ту!.. Погоди, Касьянов, некогда...

— Тук!

— Н-а-с в-ы-д-а-л-и, б-ы-л н-а д-о-п-р-о-с-е.

— Постой, постой!.. К-т-о?

— Н-е з-н-а-ю.

— Н-а-ш-л-и?

— Г-о-в-о-р-я-т, н-а-ш-л-и.

— В-р-у-т, л-о-в-я-т, в-с-е о-т-р-и-ц-а-й.

— О-т-р-и-ц-а-ю.

— К-т-о с-и-д-и-т р-я-д-о-м?

— В-е-р-а И-г-н-а-т-о-в-и-ч.

— К-о-г-д-а в-з-я-л-и?

— С-е-г-о-д-н-я, н-о-ч.

Вера взята!.. Как так?... Эх, бабье!.. А что же с Зоей... Неужели...

— Тук-ту-ту, тук-ту-ту!

— Тук!

— С-п-р-о-с-и В-е-р-у п-р-о З-о-ю.

— О-н-а т-о-ж-е а-р-е-с-т.

Зоя арестована, Зоя!.. Она сидит с нами!.. Где она сидит?... Милая!.. Что же случилось там, на воле?... Как же конфеты?... Не было ли чего-нибудь в конфетах? Не написала ли по неопытности чего-нибудь лишнего? Ах, Зоя, Зоя!.. И ты — политическая арестантка... Теперь не скоро увидимся... И жалко Зою, и радостно, что мы оба под одними сводами тюрьмы... Слово кто-то еще крепче связал наши жизни и наши души...

Как только сгустились сумерки, начал без умолку перестукиваться с Касьяновым и через него с Верой Игнатович. Обоих арестовали сегодня ночью. Ничего не нашли, кроме пузырька с гектографическими чернилами. Сказали, что купили для метки белья. Не удалось узнать, в каком номере сидит Зоя. Вера обещала узнать и постучать... Медленно выясняется дело: есть буквы, для которых приходится стукнуть девять раз, а когда говоришь с Верой через Касьянова, то теряешь всякое терпение... Что сделала Зоя при обыске? Оскорбление? Какое? Кому?

— Н-а-з-в-а-л-а н-а-х-а-л-о-м и т-о-л-к-н-у-л-а.

— К-о-г-о?

— Ж-а-н-д-а-р-м-с-к-о-г-о п-о-л-к-о-в.

Она не даст себя в обиду. Очевидно, полковник начал давать рукам волю... Я бешено бегал по камере и сжимал кулаки.

— Только бы узнать, в чем дело!.. Папаша какой!.. Погоди!..

Всю ночь стукали, устали, перестали понимать друг друга и, обессиленные от нервного напряжения, замолчали. Во сне приходила Зоя: наклонилась над изголовьем, уронила косу на подушку и шепчет:

— Я здесь, с тобой!.. Никому не говори... Люблю тебя!..

Продолжение следует.